

ЗНАНИЕ И МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ

М. А. РОЗОВ

Способ бытия знания как методологическая проблема

Научное знание доступно нашему изучению прежде всего в виде текстов. Это тексты статей, монографий, учебных курсов, это, наконец, устные доклады или дискуссии... Мы не хотим при этом сказать, что знание и текст совпадают. Рукопись книги или статьи может сгореть, но было бы странно утверждать, что сгорело знание. Мы не скажем так даже в том случае, если рукопись существовала в единственном экземпляре и ее невозможно восстановить. Это значит, что каждый из нас интуитивно различает текст и знание, интуитивно чувствует, что за текстом «кроется» нечто не совпадающее с ним по материалу и неспособное образовывать химические соединения с кислородом. Что это такое, какова его природа? При попытке ответа на этот вопрос мы наталкиваемся на ряд трудностей, которые еще предстоит преодолеть.

Какие это трудности? Любое научное исследование предполагает существование таких явлений, которые противостоят исследователю как нечто объективное и с которыми он может взаимодействовать в актах эксперимента или наблюдения, непосредственно или опосредованно. Текст, казалось бы, удовлетворяет этому требованию. Но текст сам по себе, как мы уже сказали, это некоторый материальный объект, представленный, например, пятнами краски на бумаге, и в рамках семиотики или теории познания он нас в таком виде совершенно не интересует. Текст, однако, мы читаем и понимаем, мы вкладываем в него или из него извлекаем определенный смысл. Именно это и делает текст литературным произведением, знанием, да и вообще текстом как объектом семиотики или гносеологии. И тут-то и начинаются удивительные приключения теоретического мышления в его попытках схватить и тривиализировать довольно нетривиальную ситуацию. «Слово «смысл» (meaning) — своеобразная «блудница» среди слов,— пишет К. Черри.— Это коварная искусительница, способная совратить писателя или оратора с праведного пути интеллектуального безгрешия»

[20, с. 144]. И трудность прежде всего в том, что смысл, или содержание, текста словно сопротивляется отторжению от исследователя, его никак не удастся «оттолкнуть» на нужное для объективного анализа расстояние.

Начнем с конкретного примера, демонстрирующего один из возможных подходов к анализу текста. Вот как Бертран Рассел вводит представление о высказывании (proposition): «Высказывание есть нечто такое, что может быть сказано на любом языке: «Сократ смертен» и «Socrate est mortel» выражают одно и то же высказывание. В некотором данном языке высказывание может быть сформулировано различным образом: разница между «Цезарь был убит на мартовские иды» и «Были мартовские иды, когда Цезарь был убит» очевидно только риторическая. В такой же степени возможны различные по форме слова, которые «имеют одинаковое значение». Мы можем, по крайней мере для данного случая, определить «высказывание» как совокупность всех предложений, имеющих то же самое значение, что и некоторое заданное предложение» [21, с. 10].

Обратите внимание, Рассел фактически предполагает, что для читателя совершенно очевидно существенное сходство предложений «Цезарь был убит на мартовские иды» и «Были мартовские иды, когда Цезарь был убит». Но на чем основана эта очевидность? Да, оба предложения состоят из сходных по форме значков, но порядок этих значков разный, кроме того, некоторые значки есть в одном предложении, по отсутствуют в другом. Сходство предложений, вероятно, в том, что мы их одинаково понимаем, получаем при чтении одну и ту же информацию. Но это значит, что природу высказывания, природу знания надо искать не только и не столько в тексте как таковом, сколько где-то за его пределами, может быть, в нас самих. Действительно, читая текст, мы как бы «прислушиваемся» к себе, и одни предложения «звучат» для нас одинаково, другие — нет. Но не значит ли это, что в нас заложена некоторая «программа» понимания текста?

Выдвинув такое предположение, мы можем поставить перед собой следующие две задачи: 1. Выявить эту «программу» понимания текста и сформулировать ее в явной форме, т. е. в форме более или менее однозначно понимаемых правил; 2. Выяснить, как эта «программа» была «записана» до этого, в каком виде она существовала, каков способ ее бытия. Очевидно, что эти две задачи не со-

впадают друг с другом, и это достаточно четко осознано как в лингвистике, так и в психологии. Приведем несколько высказываний по этому поводу.

«Очевидно,— пишет Н. Хомский,— что каждый говорящий на языке овладел порождающей грамматикой, которая отражает знание им своего языка. Но это не значит, что он осознал правила грамматики, или даже, что он в состоянии их осознать, или что его суждения относительно интуитивного знания им языка непременно правильны. Любая интересная порождающая грамматика будет иметь дело, по большей части, с процессами мышления, которые в значительной степени находятся за пределами реального или даже потенциального осознания» [18, с. 13]. Итак, каждый говорящий «овладел порождающей грамматикой», но это вовсе не значит, что он может сформулировать ее правила. Он этими правилами овладел, но он их не осознает. «Порождающая грамматика,— продолжает Н. Хомский,— пытается точно определить, что говорящий действительно знает, а не то, что он может рассказать о своем знании» [18, с. 13]. Аналогичные высказывания мы встречаем в работах психолингвиста Д. Слобина. «Мы уже не раз отмечали,— пишет он,— что говорящий знает правила своего языка, что в речи ребенка появляются различного рода правила... Слово «правило» может создать у вас впечатление, что психолингвисты предполагают у людей умение формулировать эксплицитные грамматические правила и что дети обучаются этим правилам. Конечно, мы имеем в виду совсем другое» [14, с. 103]. «С точки зрения ученого все сказанное означает, что возможно описать поведение говорящего в терминах некоторой системы правил. Однако такое описание не должно ставить перед собой цель доказать, что изобретенные учеными правила реально существуют в сознании индивида в каком-то психологическом или физиологическом смысле» [14, с. 106].

Как же именно и в какой форме они существуют? Надо сказать, что вопреки Д. Слобину, исследователи нередко ссылаются здесь именно на физиологию. «Что же касается понятий,— пишет известный современный лингвист У. Л. Чейф,— то они находятся глубоко внутри нервной системы человека. Можно предположить, что они обладают какой-то физической, электрохимической природой, но пока мы не в состоянии прямым образом использовать этот факт в лингвистических целях» [19, с. 92]. Именно здесь, с точки зрения Чейфа, коренит-

ся отрицательное отношение структуралистов к семантике. «Отсюда легко сделать вывод,— пишет он,— что удовлетворительное наблюдение над семантикой невозможно и что лучшее, на что можно надеяться,— это развитие теории языка с минимальной опорой на такие наблюдения» [19, с. 92—93].

Подведем некоторые итоги. Очевидно, что текст сам по себе, в форме значков на бумаге или звуковых колебаний, еще не есть знание. Знанием он может стать только в силу нашей способности понимания. Надо, следовательно, объяснить эту человеческую способность. Речь при этом идет именно об объяснении, а не о внешнем, феноменологическом описании. Наблюдая поведение человека, наблюдая, в частности, практику словоупотребления, мы можем выявить в этом поведении некоторые закономерности или «правила», мы можем эти закономерности более или менее четко сформулировать. Это, однако, не будет означать, что человек в своей деятельности руководствуется этими правилами, что они образуют внутренний механизм его поведения. В такой же степени например, закон Бойля и Мариотта, описывающий феноменологию «поведения» газа, вовсе не выявляет внутренний механизм этого поведения. Последний вскрывается кинетической теорией газов. Аналогичным образом мы можем попытаться сформулировать правила понимания текста, но даже в том случае, если нам это удастся, мы еще будем очень далеки от выяснения того, что такое знание и к разряду каких объектов его следует отнести. Нам надо еще понять, где и как эти «правила» реально существуют, каков реальный механизм понимания. Иными словами, перед нами встает достаточно глобальная проблема определения того, каков способ бытия знания, его онтологический статус. Строго говоря, без ответа на этот вопрос любое исследование знания — это исследование беспредметное, исследование, не осознающее своих собственных предпосылок и границ.

Но не толкаем ли мы при этом гносеолога и семиотика к постановке совершенно бесперспективной, тупиковой для них задачи изучения электрохимических процессов в нервных клетках человека? — Разумеется, нет. Без этих процессов человек не мог бы мыслить, не мог бы оперировать понятиями и не мог бы понимать текст. Это так. И тем не менее не в них в первую очередь следует искать разгадку природы знания. Дело в том, что понимание того или иного текста это отнюдь не только ин-

дивидуальный акт. Люди, включенные в определенный социокультурный контекст, понимают один и тот же текст примерно одинаково. Должны, следовательно, существовать какие-то объективные механизмы, обеспечивающие общезначимый, социальный характер понимания, механизмы, согласовывающие, организующие поведение людей в их отношении к отдельным знакам или тексту. Эти механизмы, которые мы в дальнейшем будем рассматривать как частный случай механизмов социальной памяти, и должны стать основным объектом изучения, выступая при этом по отношению к исследователю как нечто внешнее и от него не зависящее. Именно здесь, как нам представляется, следует искать ответ и на вопрос о способе бытия тех имплицитных правил, о которых пишут Н. Хомский и Д. Слобин, и на вопрос об онтологическом статусе знания. Перейдем теперь непосредственно к анализу указанных механизмов.

Механизмы социальной памяти

Термин «память» используется последнее время очень широко и в самых различных контекстах, все больше и больше приобретая категориальное значение. Мы говорим о памяти кибернетических систем [6], о генетической и иммунологической памяти, о неврологической памяти и т. д. [3]. В биологии термин «память» используется не только на уровне отдельного организма, но и при описании надорганизменных систем. В частности, признается, что «несущие биологическую информацию элементы измененной среды принимают на себя функции аппарата памяти» [8, с. 94]. Сюда относятся, например, различные метки животных, определяющие границы территории или пути миграции.

Во всех этих, вообще говоря, очень различных контекстах термин «память» все же сохраняет некоторое инвариантное содержание. Речь идет о механизмах, обеспечивающих сохранение и стационарное воспроизведение тех или иных состояний, явлений, форм поведения. Так, например, генетическая память обеспечивает относительно стационарное воспроизведение живых организмов и передачу наследуемых признаков от поколения к поколению. Метки животных определяют воспроизведение территориальных границ и путей миграции. Нейрологическая память обеспечивает устойчивое воспроизведение индивидуальных форм поведения. Именно с этой общей

точки зрения мы будем подходить и к социальной памяти.

«Люди,— пишет К. Маркс,— не свободны в выборе своих производительных сил, которые образуют основу всей их истории, потому что всякая производительная сила есть приобретенная сила, продукт предшествующей деятельности... Благодаря этому простому факту, что каждое последующее поколение находит производительные силы, приобретенные предыдущим поколением, и эти производительные силы служат ему сырым материалом для нового производства,— благодаря этому факту образуется связь в человеческой истории, образуется история человечества...» [2, с. 402]. Нам хотелось бы обратить внимание на то, что в этом широко известном рассуждении Маркса подчеркивается жесткая преемственность поколений, факт некоторой социальной наследственности, без которой немыслима человеческая история. От поколения к поколению передаются производительные силы, т. е. орудия труда и трудовые навыки, от поколения к поколению передаются формы общественной жизни.

Мысль Маркса можно продолжить и сказать, что от поколения к поколению передается язык, который мы тоже не творим заново, хотя и участвуем в его дальнейшем развитии. И не только язык, но и многое, многое другое. Но как осуществляется эта передача, каковы механизмы этой социальной наследственности? Орудия труда можно буквально передавать из рук в руки, но как передать способы их употребления, как передать общественные формы и, наконец, язык?

Мы полагаем, что исходный механизм, лежащий в основе всех устройств социальной памяти,— это воспроизведение деятельности путем подражания. В простейшем случае такой механизм можно представить в виде процесса-эстафеты [13], где акты деятельности или поведения образуют цепочку и каждый предыдущий акт выступает как образец для подражания, реализуемый в последующем акте. Эстафеты такого рода, несколько напоминающие волну, мы будем называть нормативными системами. Нетрудно привести большое количество примеров; иллюстрирующих введенное представление. Так, например, как установил В. Я. Пропп [11], волшебная сказка, которую мы привыкли рассказывать своим детям, с ее традиционной Бабой-Ягой и избушкой на курьих ножках — это дошедший, докатившийся наподобие вол-

ны до наших дней остаток первобытного обряда инициации. Сам обряд давно исчез, а сопровождавшее его повествование до сих пор воспроизводится, передаваясь от рассказчика к рассказчику, постепенно видоизменяясь, приобретая новых героев и новые интерпретации, но сохраняя устойчивые элементы композиции в виде последовательности функций действующих лиц.

Нормативные системы — это внутренний механизм существования социальных традиций, с которыми мы сталкиваемся отнюдь не только в фольклористике, но и во всех других сферах общественной жизни, включая и такую, казалось бы, нетрадиционную область, как наука. «...Традиция,— писал Ф. Энгельс,— является могучей силой не только в католической церкви, но и в естествознании» [1, с. 352]. Широко, например, известен экспериментальный метод, получивший название метода меченых атомов. Конкретно технологически он совсем не похож на кольцевание птиц или на мечение муравьев в мирмикологии, но нетрудно видеть, что в его основе лежит тот же самый принцип: постановка искусственных меток с целью идентификации, распознавания объектов. И можно привести множество аналогичных примеров: трассирование потока ионами в гидродинамике, бутылки с записками при изучении морских течений, радиометки у млекопитающих в ходе экологических или этологических исследований. Во всех этих случаях изменяются «действующие лица», но сохраняются их функции, как и в ходе эволюции волшебной сказки. Мы не хотим сказать, что метод меченых атомов возник по образцу кольцевания птиц или по образцу использования бутылок с записками, но, несомненно, все эти способы исследования есть ветви одного древнего корня, как и в случае волшебной сказки.

Итак, человек живет в рамках нормативных систем, является их участником. Разумеется, в его распоряжении, вообще говоря, имеется не один, а очень много различных образцов поведения и деятельности, т. е. он является актуальным или потенциальным участником не одной, а огромного количества нормативных систем, огромного количества осознанных или неосознанных традиций, которые к тому же еще пересекаются и взаимодействуют друг с другом [12]. И несомненно, одна из самых сложных форм поведения, которая усваивается и воспроизводится по имеющимся у нас образцам,— это языковое поведение, т. е. речь. Именно нормативные системы, с этой

точки зрения, определяют наше понимание текста, делая его, в частности, литературным произведением или научным знанием. Это как раз и есть та особая действительность, которая «скрывается» за текстом и образует, как нам представляется, основную «субстанцию» знания.

Но прежде чем конкретизировать это последнее положение, нам необходимо несколько уточнить и развить понятие о нормативных системах как механизмах социальной памяти. Мысль о роли подражания в жизни человеческого общества, в воспроизведении и развитии культуры — мысль отнюдь не новая. Первые догадки мы находим уже у Гельвеция; детально разработанную и достаточно глобальную концепцию, правда, выдержанную в сугубо позитивистском духе, — в работах французских социологов Э. Дюркгейма и Г. Тарда [5, 16]. Тот факт, что человек усваивает язык путем подражания, до недавнего времени признавали и психологи, и лингвисты [4]. Наконец, последние десятилетия наука о поведении животных, этология, дает в наше распоряжение огромный материал, показывающий, что и в животном мире подражание играет немалую роль [7]. И тем не менее как раз в последнее время вопрос этот стал спорным и дело доходит до полного отрицания подражания в процессе усвоения языка [14, 15]. Ситуация вполне заслуживает специального анализа и требует, с нашей точки зрения, существенного уточнения того, что мы понимаем под воспроизведением социокультурных образцов путем подражания.

Дело в основном сводится к следующему. Во-первых, подражание отнюдь не следует понимать как буквальное повторение одного и того же, например, одной и той же фразы или одних и тех же действий в идентичных условиях. Воспроизведение деятельности по образцу — это чаще всего воспроизведение ее в рамках несколько измененной ситуации, с новыми объектами и орудиями. В частности, подражание при усвоении языка означает не простое повторение услышанной фразы, хотя и такое может иметь место, но построение новой фразы, имеющей те же самые особенности структуры. Иными словами, подражание — это одновременно и некоторое обобщение, генерализация, перенос уже осуществленных и проверенных таким образом способов действия в новые, хотя и аналогичные условия. Во-вторых, и это главное, подражание у человека существенно отличается от подражания в мире животных, ибо оно обусловлено социокультурным

контекстом и просто не существует вне последнего. Поэтому говорить об отдельно взятой, изолированной нормативной системе — значит допускать сильное упрощение, оправданное, как правило, только в узких пределах. Рассмотрим это более подробно.

Подражание у животных ограничено узкими рамками их биологических возможностей, узкими рамками их жизнедеятельности, что и определяет стационарность воспроизведения образцов. Совсем не так у человека. Представьте себе, что вам указали на предмет, лежащий на столе, и сказали: «Это пепельница». Перед вами пластмассовый брусок с выемкой, имеющий определенную форму, цвет, вес и множество других характеристик, но внешне сравнительно мало похожий на прозрачную стеклянную раковину, стоящую на соседнем столе, которая тоже, как потом выяснится, называется пепельницей. Что значит подражать в данной ситуации? Вам задан образец словоупотребления, образец именованья, но при попытке реализовать этот образец обнаруживается, что вы имеете поистине бесконечное количество степеней свободы. Можно назвать пепельницей любой пластмассовый предмет, можно предмет квадратной формы, можно книгу, переплет которой имеет тот же цвет, можно блюдо или тарелку... Имеющийся у вас образец сам по себе почти ни в чем вас не ограничивает, иначе говоря, он не задает поля возможных реализаций.

Но не означает ли это вообще отрицание каких-либо возможностей подражать? Нет, не означает. Трудность не в том, что человек не способен устанавливать, усматривать сходство предметов или действий в тех или иных заданных отношениях. Трудность прежде всего в незаданности самих этих отношений. Здесь, однако, и включается в действие социальный контекст, т. е. другие образцы, динамика общения, корректирующее поведение других людей. Допустим, например, что вы уже овладели языком и новым для вас является только слово «пепельница». В этом случае оказывается, что степеней свободы у вас уже не так много. Вновь введенный термин не может обозначать цвет, материал, форму и т. д., ибо в языке уже есть соответствующие обозначения, он может претендовать только на то «место», которое еще не занято, т. е. на обозначение предмета в целом. Но и здесь много ограничений. Термин «пепельница» не может, например, обозначать блюдо, ибо и это «место» уже занято другим словом. Мы приходим к одному из социальных ме-

ханизмов, обеспечивающих стационарность воспроизведения образцов. Его можно назвать механизмом Парменида по имени древнегреческого мыслителя, считавшего, что движение невозможно, ибо все места заняты и ни одно тело в силу этого не может сдвинуться.

Таким образом, если у животных подражание обусловлено их биологической организацией, то человеческая способность непосредственного воспроизведения социокультурных образцов — это прежде всего феномен социального целого, феномен языка, феномен культуры. Биологическое подражание, конечно, лежит в основе человеческой культуры в качестве исторической предпосылки, но эффект обратного влияния организованного универсума культурных образцов неузнаваемо преобразует эту способность, почти отрывая ее от ее биологических корней.

Для того, чтобы связать эти довольно общие рассуждения с конкретным материалом, рассмотрим теорию референции Х. Патнэма. «По нашей теории,— пишет он,— слова типа «вода» имеют неявный... индексальный компонент: вода — это вещество, которое находится в некотором отношении подобия к воде здесь, в данном месте. Вода в другое время и в другом месте или даже в другом возможном мире должна находиться в отношении «та же жидкость» к нашей воде для того, чтобы быть водой» [9, с. 389]. Х. Патнэм утверждает, что построить референцию слова «вода» — это значит задать образец такой референции, т. е. указать на конкретный стакан с водой и сказать: «это — вода». Иными словами, речь идет об остенсивном определении термина. Дальше следуют, однако, довольно неожиданные выводы. Допустим, пишет Х. Патнэм, что наряду с обыкновенной водой, имеющей формулу H_2O , на другой планете существует вещество, очень на нее похожее, но с формулой XYZ . Допустим, что в 1750 г. мы не могли знать, что вода и XYZ разные вещества, а сейчас уже можем их различить. Изменилось ли значение слова «вода»? — Ответ отрицательный. «Сам тот факт, что говорящий мог бы в 1750 г. назвать XYZ «водой», не означает, что «значение» слова «вода» за этот промежуток времени для среднего человека изменилось. И в 1750 г., и в 1850 г., и в 1950 г. можно было указать, скажем, на жидкость в озере Мичиган как на пример «воды». Изменилось бы то, что в 1750 г. мы бы ошибочно считали, что XYZ находится в отношении тождества к жидкости в озере Мичиган, тог-

да как в 1800 или 1850 г. мы бы уже знали, что это не так» [9, с. 381].

Сказанное означает, что с точки зрения Х. Патнэма, остенсивное определение однозначно задает некоторый класс объектов или, что то же самое, отдельно взятый образец референции задает поле возможных реализаций, независимо от того, осознаем мы это или нет, делаем ошибки или не делаем. Но объективно, т. е. независимо от нашей способности сопоставления, вода в озере Мичиган, с одной стороны, чем-то отличается от воды в озере Байкал, а с другой, в чем-то похожа на соляную кислоту. А указание на нечто, находящееся в стакане, само по себе в равной степени может задать значения слов «жидкость», «прозрачная жидкость», «растворитель»... Остенсивные определения поэтому, и это крайне принципиально, имеют только видимость непосредственности и беспредпосылочности. В действительности они приобретают некоторую определенность только в контексте культуры как целого. Они напоминают айсберг, большая часть которого скрыта от нашего наблюдения. И это касается, вероятно, всех исходных, элементарных операций познания: чем ярче выступает их видимая элементарность и беспредпосылочность, тем сильнее на самом деле их неявная обусловленность социальным целым.

Знание как особый механизм социальной памяти

Вероятно, в истории человечества был период, когда вся деятельность людей воспроизводилась исключительно на уровне непосредственно данных образцов. Однако было бы абсурдным пытаться представить таким образом современную культуру. Здесь появляется особое устройство памяти, появляется знание. Что же это такое в свете изложенных выше представлений? Рамки настоящей статьи не позволяют вдаваться в детали этой проблемы. Мы ограничимся построением крайне упрощенной, хотя и принципиальной модели, позволяющей понять дальнейшее обсуждение.

Знание, разумеется, не только не отрицает деятельности по образцам, но и не существует вне и помимо такой деятельности. Образно выражаясь, его можно представить как «путеводитель» по образцам или как «инструкцию» пользования ими.

Представьте себе, что вы столкнулись с некоторым явлением *X* и вам необходимо определить в этой ситуации способы своего поведения. В простейшем случае вы находите в сфере прошлой деятельности, своей собственной или других людей, аналогичную ситуацию и подражаете тем действиям, которые один раз уже привели к успеху. Явление *X* выступает здесь как естественный фактор выбора, ибо именно сравнение с *X* позволяет выделить и актуализировать соответствующий фрагмент прошлого опыта. Но усложним задачу: допустим, что среди доступных вам образцов нет ничего подходящего. Как быть? Можно собрать «консилиум», надеясь, что необходимые образцы есть в поле зрения других людей. Ситуация вполне реальная как в далекой древности, так и в настоящее время. Геродот свидетельствует, что в древнем Вавилоне больных выносили на площадь, и каждый прохожий обязан был подойти, спросить, чем он болен, и, если он болел тем же самым, сказать, как он вылечился. Но что значит «сказать»? Болезнь в данном случае — это явление *X*. Сам больной не может использовать его в качестве фактора выбора, ибо в его распоряжении нет нужных образцов. «Сказать» — это значит заменить *X* другим, уже искусственным фактором выбора, который способен выделить в прошлом опыте соответствующий образец или комбинацию образцов. Такая замена и есть первый шаг в формировании знания.

В ситуации «консилиума» важно следующее. «Больной», как позднее выясняется, имеет нужные образцы деятельности, но не способен их выделить, ибо не срабатывают его факторы выбора. Каждая относительно стационарная нормативная система имеет некоторое объектное поле реализаций, т. е. множество объектов, которые могут быть включены в деятельность по ее образцам. В данном случае «заболевание» *X* не входит в объектное поле ни одной из нормативных систем, в рамках которых может функционировать сам «больной». Чего же добивается «консультант», сказав, как он вылечился? Построив новый фактор выбора, функции которого в свою очередь закреплены в нормативных системах языка, он как бы выводит одну или несколько из нормативных систем «больного» в новую для них область, расширяя объектное поле их реализаций. Задаваемые языком искусственные факторы выбора — это словно поводок, с помощью которого можно «переводить» нормативные

системы из одной освоенной объектной области в другую, еще не освоенную, как быка на веревочке.

Но что же такое знание? В ситуации «консилиума» мы имеем не один, а два искусственно построенных фактора выбора. Первый, уже рассмотренный, — это совет «консультанта». Но вспомним, что и «больной» описывал свою «болезнь». Такое описание может заменить непосредственный осмотр и представляет собой тоже искусственный фактор выбора, позволяющий консультанту выбрать нужный образец из сферы доступного ему личного или социального опыта. Правда, как нетрудно видеть, этот фактор связан непосредственно не с образцами лечения «болезни», а с образцами поиска и выявления определенных явлений. Именно эти явления и ищет консультант в прошлом опыте. Обозначим теперь описание «болезни» через A , а рекомендацию консультанта через B . Тогда комбинация AB дает нам знание при условии, если существуют образцы, позволяющие прочесть это примерно следующим образом: в ситуации, которая выделяется по образцам A , следует действовать по образцам B . Перед нами не что иное, как некоторая «инструкция», показывающая, как нужно использовать имеющиеся в нашем распоряжении образцы. Знание появляется тогда, когда человек начинает стихийно или целенаправленно создавать особую искусственную реальность, функционирующую в качестве факторов выбора, которые закрепляют возникающие в практической деятельности связи нормативных систем и регулируют выбор образцов в той или иной ситуации.

Построенная модель, несмотря на крайнюю степень упрощения, позволяет выделить некоторые существенные элементы знания и вполне допускает конкретные иллюстрации. Начнем с первого. Сочетание искусственно построенных факторов выбора AB — это и есть то, что мы называем текстом. Текст не был бы знанием, если бы его элементы не входили в объектное поле деятельности по крайней мере следующих, уже выделенных выше нормативных систем: 1. Нормативная система распознавания некоторого явления или ситуации, которая подключается фактором A , т. е. нормативная система референции. 2. Нормативная система, связанная с фактором выбора B . Мы будем называть ее репрезентатором. 3. «Синтаксическая» нормативная система, позволяющая выделить в тексте отдельные факторы выбора и связать соответствующим образом подключаемые ими норматив-

ные системы. В нашем конкретном случае требуемая связь состоит в следующем: объекты, выделяемые в рамках реализации системы *A*, входят в объектное поле системы *B*.

Что касается интерпретации, то хорошим примером могут быть древние математические рукописи, представляющие собой сборники решенных задач. Сама задача в ее конкретной формулировке функционирует здесь как описание некоторого класса ситуаций, т. е. должны были существовать и, несомненно, существовали образцы сопоставления и идентификации задач с разными конкретными условиями. Что касается решения, то и оно важно не в его конкретной форме, но как указание на характер и последовательность операций, которые надо осуществить. Реализуемость этих операций должна быть обеспечена соответствующими образцами. Очевидно, что можно без особого труда привести и гораздо менее явные примеры. Вообще говоря, задача анализа знания с целью выявления входящих в его состав нормативных систем — это задача достаточно сложная. Мы ограничимся здесь только ее постановкой, не претендуя на большее.

Знание как атрибутивный набор

В свете всего изложенного мы можем теперь вернуться к проблеме, которая была сформулирована в первой части статьи, — к вопросу о способе бытия знания. Хотелось бы подчеркнуть, что эта проблема имеет много аналогов и является в этом плане достаточно традиционной отнюдь не только в гносеологии, где ее обсуждают начиная с Платона, но и в границах гуманитарного знания вообще. В частности, в близкой по смыслу форме она остро стоит в теории литературы, и в целях большей общности и выделения принципиальных моментов полезно ознакомиться с существующими здесь решениями.

«Прежде чем приступить к анализу различных аспектов произведения искусства, — пишут Р. Уэллек и О. Уоррен, — мы должны коснуться чрезвычайно сложной эпистемологической проблемы, которую можно определить как «способ бытия» или же как «онтологическую природу» литературного произведения...» [17, с. 154]. Разбирая этот вопрос, они выделяют следующие точки зрения: 1. Литературное произведение — это строки, нанесенные чернилами на бумагу, тушью на пергамент или резцом

на камень. 2. Литературное произведение — это последовательность звуков, издаваемых тем, кто его читает или декламирует. 3. Литературное произведение — это опыт читателя, оно идентично тем душевным состояниям или процессам, которые наблюдаются, когда мы читаем или слушаем литературное произведение. 4. Литературное произведение — это опыт самого автора, осознанный и представленный в виде авторского замысла или бессознательный. 5. Литературное произведение — это социальный опыт, это опыт, общий всем, кто воспринимает данное произведение.

В чем же суть позиции самих авторов? Литературное произведение, с их точки зрения, должно быть рассмотрено как «совокупность некоторых норм, связанных отношениями структуры и лишь частично раскрывающихся в непосредственном опыте... читателей. Каждый отдельно взятый опыт (чтение, исполнение и т. д.) представляет собой лишь более или менее удачную попытку уловить и выразить эту совокупность норм и критериев» [17, с. 154]. Под «нормой» при этом понимаются «те имплицитные нормы, которые необходимо вычлениить из каждого индивидуального опыта восприятия художественного произведения и которые в совокупности составляют истинное произведение искусства как определенную целостность» [17, с. 164]. Мы попадаем в уже знакомую нам сферу имплицитных правил, существование которых отмечают Хомский и психолингвисты. Р. Уэллек и О. Уоррен тоже в свою очередь проводят аналогию с языком. «Система языка... — это совокупность правил и норм, взаимоотношения и действие которых мы можем проследить и описать, не нарушая присущей данной системе соотносительности и целостности, хотя в речи отдельных индивидуумов мы сталкиваемся со всевозможными отклонениями от системы, нарушениями ее и неполнотой ее элементов. В этом смысле произведение словесного искусства в том же положении, что и язык. Как индивидуумы, мы никогда не сможем выразить заключенную в нем систему полностью, точно так же как полностью и в совершенстве использовать наш язык» [17, с. 166].

Но можно ли считать, что приведенная точка зрения есть решение вопроса? Авторы сами понимают, что нет. «Понимание литературного произведения как стратифицированной системы норм, — пишут они, — оставляет открытым вопрос о том, каков же способ бытия этой системы. Чтобы найти верное решение, следовало бы

затронуть здесь полемику номинализма и реализма, ментализма и бихевиоризма — короче говоря, весь круг основных проблем эпистемологии» [17, с. 167]. Авторы не идут, однако, по этому пути, стремясь, по их словам, только к тому, чтобы избежать крайностей: крайнего платонизма и крайнего номинализма. Свою позицию они резюмируют в следующем отрывке, который, несмотря на его длину, стоит привести полностью. «Таким образом, художественное произведение предстает как обладающий особой онтологической природой объект познания *Sui generis*. Оно не является по своей природе ни чем-то существующим в самой реальной жизни (физическим, наподобие монумента), ни чем-то существующим в душевной жизни (психологическим, наподобие тех реакций, что вызываются светом или болью), ни чем-то существующим идеально (наподобие треугольника). Оно представляет собой систему норм, в которых запечатлены идеальные понятия intersубъективного характера. Эти понятия, очевидно, существуют в совокупности общественных идей и изменяются вместе с изменениями данной совокупности; они открываются нам только через индивидуальный душевный опыт и опираются на звуковую структуру тех лингвистических единиц, из которых состоит текст произведения» [17, с. 170].

Итак, литературное произведение не является ни чем-то физическим, ни чем-то психологическим, ни чем-то существующим наподобие идеальных объектов науки. Что же это за образование, каков его онтологический статус? Авторы на этот вопрос не отвечают, но их рассуждения хорошо иллюстрируют сложность проблемы и хаос, который в настоящее время здесь наблюдается. И очевидно, что все без исключения трудности, с которыми сталкиваются литературоведы, ждут нас на пути анализа знания, на пути выяснения его онтологической природы, или, что то же самое, способа бытия. Переходим теперь непосредственно к решению этого вопроса в свете изложенных представлений.

Знание, как и литературное произведение, нельзя, вероятно, рассматривать как вещь, как физический предмет. Оно не существует так, как кристалл или кусок горной породы. И в то же время научное знание нельзя представить помимо книг, библиотек, помимо каких-то следов типографской краски на бумаге. Знание не существует помимо определенного рода вещей, но оно в то же время есть нечто от них отличное.

Но, если знание по своему онтологическому статусу не похоже на вещь, то оно очень напоминает свойство. Для того чтобы это понять, надо обратиться к анализу способа бытия свойств, надо ответить на вопрос, как и в какой форме они существуют. Возьмем в качестве примера такое свойство, как растворимость. Каждый знает, что сахар растворим в воде, однако, приписывая ему это свойство, мы вовсе не хотим этим сказать, что он в данный момент растворяется или пребывает в растворенном состоянии. Сахар растворим в воде и тогда, когда он непосредственно с водой не взаимодействует. Иными словами, свойство растворимости — это не раствор и не процесс растворения, а только возможность того и другого. Свойство — это не реальное взаимодействие объекта с индикатором, а только возможность такого взаимодействия.

Но как эта возможность существует в действительности? Ответить на этот вопрос — это и значит выяснить способ бытия свойства. Введем с этой целью понятие атрибутивного набора. Атрибутивный набор — это совокупность вещей, способных вступать во взаимодействие и проявлять, следовательно, те или иные свойства. Тип последних определяется как природой взаимодействия, так и характером его результата. Каждому свойству можно поставить в соответствие некоторое множество атрибутивных наборов. Так, свойству «растворимость» соответствуют наборы «вода — сахар», «вода — поваренная соль» и многие другие. Набор «сахар — вода» соответствует не только растворимости как таковой, но и конкретной растворимости сахара в воде. Мы полагаем, что конкретный атрибутивный набор или множество наборов — это и есть способ бытия свойства.

Атрибутивный набор не следует смешивать с какой-либо целостностью или системой, состоящей из элементов. Вещи, входящие в атрибутивный набор, могут в данный момент никак не взаимодействовать друг с другом, могут быть разделены в пространстве и входить в состав разных обособленных друг от друга целостностей. Если существует атрибутивный набор, то существует и свойство, хотя оно может в данный момент и не проявлять себя. Наоборот, если в мире не существует воды, то бессмысленно говорить о растворимости сахара в воде как о реальном свойстве. Последнее нуждается, однако, в некоторых оговорках. Атрибутивные наборы бывают простые и сложные. Так, например, «вода — сахар» —

это простой набор. Но рассмотрим набор «свеча—коробок—спички». Спички обладают свойством воспламеняться при трении о спичечный коробок. Свеча загорается, если ее поднести к пламени. Свойство свечи воспламеняться должно быть представлено простым набором «пламя—свеча»; пламени у нас нет, но есть набор «коробок—спички», как бы заменяющий пламя. Сказанное выше можно поэтому уточнить следующим образом: свойство не существует, если в соответствующем ему простом наборе нет какого-либо компонента и нет заменяющих этот компонент других атрибутивных наборов.

Очевидно, что атрибутивный набор — это особое образование, которое не похоже на вещь. Он, в частности, не имеет строения, не имеет структуры в том смысле слова, в каком мы говорим о строении или структуре вещей. Элементы, образующие вещь, должны актуально взаимодействовать друг с другом, как, например, в кристалле. Аtribuтивный набор, как мы уже говорили, не образует целостности и не предполагает актуального взаимодействия. Если поэтому здесь и можно говорить о строении, то совсем в другом смысле и, разумеется, только применительно к сложным наборам. Сложный атрибутивный набор можно упорядочить, указывая, в какой последовательности его элементы могут или должны вступать во взаимодействие для реализации соответствующего свойства. Записать это можно с помощью скобок. Так, например, уже рассмотренный набор со свечой и спичками будет выглядеть так: (спички — коробок) — свеча.

Вернемся теперь к знанию. Суть нашей точки зрения в том, что знание — это атрибутивный набор, или, точнее, быть атрибутивным набором — это способ существования знания, его онтологический статус. Мы говорим здесь не о содержании знания, а о способе бытия, говорим, образно выражаясь, не об отражении в зеркале, а о способе бытия этого отражения. Что же в этот атрибутивный набор входит? Во-первых, текст как некоторое материальное, вещественное образование, т. е. следы краски или чернил на бумаге, магнитофонные записи, глиняные таблички с надписями и т. д. Знание как текст — это физическое явление или некий «монумент». Второй элемент атрибутивного набора — это человек как участник ряда нормативных систем, точнее, ряда относительно стационарных традиций, необходимых для понимания и использования текста. Человек выступает

здесь как индикатор, по отношению к которому текст проявляет свою «знаниевость». Важно при этом, что речь идет о стационарных традициях, а следовательно, в состав атрибутивного набора мы включаем не просто индивида, а фактически весь универсум культуры на определенном этапе ее развития. Индивид здесь — это частное воплощение стационарных традиций, в совокупности которых он способен работать. Можно сказать, что атрибутивный знаниевый набор — это текст и множество культурных традиций, необходимых для понимания и использования текста.

В таком понимании знание выглядит как простой атрибутивный набор, но это только потому, что мы не конкретизировали, о каких именно традициях идет речь и как они упорядочены. Выше мы видели, что уже в простейшем случае «знаниевость» предполагает по крайней мере наличие трех нормативных систем: 1) синтаксическая нормативная система; 2) система референции; 3) система-репрезентатор. Тогда перед нами сложный атрибутивный набор, который с помощью скобок можно записать следующим образом: [(текст — синтаксическая система) — система референции] репрезентатор. Синтаксическая система задает стационарные способы прочтения текста и выделения в нем факторов выбора и их отношения. Иными словами, она позволяет выявить, о чем и что говорится в тексте. Система референции позволяет соотнести текст с некоторыми объектами действительности, что в свою очередь определяет объектное поле системы-репрезентатора.

Хотелось бы подчеркнуть коренное отличие нашей точки зрения от позиции Р. Уэллека и О. Уоррена, которая была изложена выше. Литературное произведение, как и знание, — это не просто совокупность норм, но и текст, письменный или устный. Без текста нет и произведения как явления социального. Мы уже и не говорим, что необходимо выявить способ бытия самих норм и характер их связей, если последние имеют место. Но способ бытия норм — это нормативные системы культуры в их взаимодействии, непрерывный процесс воспроизводства деятельности по образцам. А литературное произведение есть ничто относительно отчуждаемое от деятельности, оно остается таковым и тогда, когда его никто не читает и не переживает. Именно эту относительную отчуждаемость и объясняет представление об атрибутивном наборе.

Концепция «третьего мира» К. Поппера

Очень близко к аналогичным представлениям подходит К. Поппер в своей концепции объективного знания, или «третьего мира». «Если использовать слова «мир» или «универсум» не в строгом смысле, — пишет он, — то мы можем различить следующие три мира, или универсума: во-первых, мир физических объектов, или физических состояний; во-вторых, мир состояний сознания, мыслительных (ментальных) состояний; в-третьих, мир объективного содержания мышления, прежде всего содержания научных идей, поэтических мыслей и произведений искусства». К третьему миру Поппер относит проблемы и проблемные ситуации, критические рассуждения, дискуссии и споры. «Конечно, — пишет он, — сюда относится и содержание журналов, книг и библиотек» [10, с. 441].

Поппер настойчиво подчеркивает объективность и автономность третьего мира. Он пишет: «Мнение, что без читателя книга ничего собой не представляет, является одной из главных причин ошибочного субъективного подхода к знанию. Книга якобы в действительности становится реальной только тогда, когда она понята, в противном случае же она просто бумага с черными пятнами на ней» [10, с. 450]. С точки зрения Поппера, «книга остается книгой... даже если она никогда не была прочитана (как часто происходит сегодня)» [10, с. 450]. Что же делает ее книгой? Оказывается, потенциальная возможность быть прочитанной и понятой. «Именно возможность или потенциальность некоторой вещи быть понятой, ее диспозиционный характер быть понятой и интерпретированной, или неправильно понятой и неправильно интерпретированной делает ее книгой. И эта потенциальная возможность, или диспозиция, книг могут существовать, не будучи когда-либо актуализированными или реализованными» [10, с. 451].

Как мы уже отмечали, К. Поппер вплотную подходит здесь к понятию атрибутивного набора. Быть книгой, быть знанием — это свойство некоторого материала. Но свойство — это не процесс, не взаимодействие, а только возможность, только потенция, которая может и не реализоваться, если нет соответствующих условий. Данный кусок сахара растворим в воде и тогда, когда воды поблизости нет, он остается растворимым и в том случае, если его вообще никогда не опустят в чай. В та-

кой же степени и книга обладает знаниевою независимостью от наличия или отсутствия актуальных читателей. Для этого важна только возможность прочтения.

Но каков способ существования этой возможности? Что нужно, чтобы она была реальной, а не абстрактной? На этот вопрос Поппер практически не отвечает, и здесь коренится основной недостаток его концепции. Понимая, что быть книгой или знанием — это свойство, Поппер совершенно не интересуется, по отношению к какому индикатору это свойство проявляется. Это примерно так же, как если бы, говоря о растворимости сахара в воде, мы тут же совсем забыли бы о воде. А ведь очевидно, что в определении свойства растворимости и вода, и сахар совершенно равноправны. Следовательно, в случае анализа знания нам необходим анализ не только книги, но и читателей, или, точнее, потенциального читателя. Что именно делает его таковым? Поппер полностью игнорирует этот вопрос.

К чему это конкретно приводит, можно видеть из следующего мысленного эксперимента, который он рассматривает в качестве одного из доказательств «независимого существования третьего мира». «Предположим, что все наши машины и орудия труда разрушены, а также уничтожены все наши субъективные знания, включая субъективные знания о машинах и орудиях труда и умение пользоваться ими. Однако библиотеки и наша способность учиться, усваивать их содержание выжили. Понятно, что после преодоления значительных трудностей наш мир может начать развиваться снова» [10, с. 441]. Не очень ясно, о каких трудностях говорит Поппер, но очень жаль, что он не объяснил, как он собирается сохранить возможность понимания и усвоения содержания книг в условиях, когда уничтожены все орудия труда, навыки их использования и все субъективные знания об этом.

Действительно, делая такие сильные предположения, Поппер мысленно разрушает все основные, исходные нормативные системы социума, он разрушает тот мир, из которого познание черпает свои репрезентаторы. Он разрушает репрезентаторы, но полагает, что сохранил знание. Если нет орудий труда и соответствующих навыков, то нет и таких понятий, как «резать», «колоть», «пилить», «сверлить», «шить», «связывать», нет значительной части глаголов, образующих основу нашего языка. Эти комплексы звуков перестали теперь быть факто-

рами выбора, ибо нет соответствующих нормативных систем. Нельзя не учитывать, что огромное количество навыков мы приобретаем не из книг и не в форме знания, а на уровне воспроизведения образцов. В форме знаний эти навыки никогда не фиксировались, но сами они являются необходимым условием усвоения знаний, ибо, уничтожая эти навыки, мы фактически уничтожаем язык. Поэтому мысленный эксперимент Поппера — странная попытка сохранить верхние этажи здания, разрушая при этом его фундамент. Поппер просто не видит этого фундамента, ибо, рассуждая о свойствах, он забывает об индикаторах, благодаря которым такие свойства только и существуют. Эти индикаторы — нормативные системы.

Критикуя Поппера, мы вовсе не отказываемся от принципиальной идеи объективности знания. Знание объективно примерно в том же смысле слова, что и производительные силы общества. Последние предполагают орудия труда и людей, обладающих соответствующими навыками. Нетрудно видеть, что производительные силы — тоже атрибутивный набор. Мы же не отождествляем производительные силы с актуальным процессом производства, как не отождествляем растворимость с процессом растворения. Очевидно, однако, что производительные силы не существуют вне производства, вне постоянной актуализации производственных навыков. В такой же степени и знание не существует вне деятельности, вне ее динамики, не существует без нормативных систем производства, познания, общения. Недостаток концепции Поппера в том, что он, возможно, сам того не желая, сделал попытку оторвать знание именно от деятельности.

Так существует или нет попперовский «третий мир»? В том виде, который ему придал Поппер, не существует. Миллионы книг и статей, хранящихся в библиотеках, обладают «знаниевостью» только постольку, поскольку существует и воспроизводит себя живой универсум культуры, поскольку бегут от поколения к поколению волны-эстафеты нормативных систем. Изменение в этом мире заставляет нас по-новому прочитывать старые тексты, вкладывать в них новое содержание, а реконструкция старых прочтений превращается в сложнейшую и далеко не всегда разрешимую задачу исторического исследования. Знание меняется, хотя в мире попперовских монументов не происходит никаких перемен. Знание — это

«живое» вино, которое наполняет кувшин. Поппер выплеснул вино, оставив только сосуд.

ЛИТЕРАТУРА

1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20.
2. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 27.
3. Ашмарин И. П. Загадки и откровения биохимии памяти. Л., 1975.
4. Блумфилд Л. Язык. М., 1968.
5. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социол. этюд. СПб., 1912.
6. Краймер Л. П., Магюхин С. А., Майоркин С. Г. Память кибернетических систем: (Основы мнемологии). М., 1971.
7. Мантейфель Б. П. Экология поведения животных. М., 1980.
8. Наумов Н. П. Биологические (сигнальные) поля и их значение в жизни млекопитающих.— В кн.: Успехи современной териологии. М., 1977.
9. Патнэм Х. Значение и референция.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. М., 1982, вып. 13.
10. Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983.
11. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946.
12. Розов М. А. Пути научных открытий.— Вopr. философии, 1981, № 8.
13. Розов М. А. Информационно-семиотические исследования: процессы — эстафеты и принцип дополнительности.— НТИ. Сер. 1984, № 2.
14. Слобин Д., Грин Дж. Психоллингвистика. М., 1976.
15. Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф., Шахнарович А. М. Теоретические и прикладные проблемы речевого общения. М., 1979.
16. Тард Г. Законы подражания. СПб., 1892.
17. Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. М., 1978.
18. Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972.
19. Чейф У. Л. Значение и структура языка. М., 1975.
20. Черри К. Человек и информация. М., 1972.
21. Russel B. An inquiry into meaning and truth. L., 1967.